

# Новая Польша 7-8/2009

## 0: ЕСТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ НЕ СДЕЛАТЬ

*Виктор Кулерский, один из лидеров подпольной «Солидарности», баллотировался на первых «полусвободных» выборах в сейм 1989 года. Он представлял свой родной город Грудзёндз. Ниже мы публикуем интервью Виктора Кулерского, впервые напечатанное в специальном издании к 20 й годовщине этих выборов, а также его заметку, напечатанную в журнале «Знак» в июле 1989 г., т.е. вскоре после выборов.*

— Как получилось, что вашу кандидатуру выдвинули на тех выборах? Я спрашиваю, потому что известно несколько версий...

— Я работал тогда в библиотеке Варшавского университета, в отделе предметного каталога. Работу я получил благодаря смелости и упорству проректора Анджея Тымовского, который спустя некоторое время после моего выхода из подполья пробил мое зачисление на работу.

— А вы, как известно, скрывались дольше всех из лидеров подпольной «Солидарности»...

— Мы вместе с Яном Литыньским вышли из подполья 30 сентября 1986 года. Сделали мы это на пресс-конференции, организованной у Эвы Милевич дома, в присутствии западных журналистов. После почти пяти лет подпольной деятельности мы перешли к деятельности открытой. Разумеется, в тот момент я оказался безработным, без продовольственных карточек и без перспектив на нормальную жизнь. В школу меня не хотели взять даже ночным сторожем или кочегаром. В конце концов меня взяли в университет, но с оговоркой, что я не должен иметь контактов с молодежью. Отсюда этот предметный каталог. Для меня — идеальная работа. Я обрабатывал книги по тем областям, которыми увлекался, то есть по биологии, истории, истории искусства. И был очень доволен этой работой. В один прекрасный день мне говорят, что в холле библиотеки меня ждут какие-то люди. Наверно гэбуха, подумал я, потому что в тот период они всё время за мной ходили и ездили. Сопровождали на работу и обратно. За мной всегда медленно ехала машина. Неприятное чувство: идти по темным улицам — а я жил, как и сейчас, в Мендзылесье, на окраине столицы, — когда сзади светят их фары. Ну я спускаюсь вниз, а там вместо гэбэшников делегация из Грудзёндза. Мне кажется, что среди этих людей был и Витек Красневский, мой будущий друг, который стал потом руководить предвыборной кампанией в Грудзёндзе.

— Он говорит, что познакомился с вами только на конвенте в Торунь.

— Возможно, в той группе его действительно еще не было... Человеческая память все-таки ненадежна. Так или иначе, но тогда мне и предложили быть кандидатом. Для меня это было полной неожиданностью. Желания такого у меня не было, а отказать было трудно. Я обратился за советом к отцу.

— В прошлом секретарю Миколайчика и члену Национального совета — эквивалента парламента в изгнании.

— Человеку, который прошел через многое и неплохо узнал коммунистов. «Если приехали из Грудзёндза, — сказал он, — значит, помнят и питают доверие к нашей семье. И у них нет никого другого. Нельзя, чтобы ты им отказал, оставил ни с чем». Потом оказалось, что они вроде бы вышли на меня только с третьего раза. Искали через Куроня, Вуеца, в конце концов добрались как раз до отца, и он их направил в библиотеку.

— А вы бывали в те времена в Грудзёндзе?

— До «Солидарности» — редко. У меня там жили родные. Это были эпизодические семейные встречи. Во время военного положения пани Кароле Сковронской, директору городской библиотеки, пришла в голову мысль присвоить библиотеке имя моего деда, издателя «Газеты Грудзёндзской». Я не мог приехать, потому что скрывался, но на торжество отправился мой брат, которого немного раньше выпустили из Бялоленки. Однако гэбэшники задержали его где-то на подъездах к Грудзёндзу. Но во время предвыборной кампании, если вы меня об этом спрашиваете, мне было где жить в родном городе.

— Избирательный конвент в Торунь вы помните?

— Надо было кратко о себе рассказать. Меня там как бы легализовали. Остальных делегатов «благословил» наш центр, где специальная комиссия просвечивала кандидатов, контролируя, чтобы в наши списки не попали люди из органов. А на меня указала сама местность, родной город — то есть я попал в кандидаты словно бы другим путем. По-другому я подошел и к снимку с Валенсой. Мне не хотелось фотографироваться с ним. Сама эта затея мне не нравилась. Да, так было правильно в смысле маркетинга, и если бы я должен был голосовать по поводу этого шага, то, пожалуй, был бы «за», но для себя лично такой фотографии на плакатах не хотел. И не жалею об этом решении. Предвыборный плакат у меня был индивидуальный, сделанный на месте, в Грудзёндзе, — возможно, не очень... доработанный, но такие были времена.

— **Пора было начинать встречи с избирателями.**

— А они бывали разными. От спокойных до нервных, с вмешательством милиции.

— **Другие кандидаты об этом не вспоминают.**

— Может, им повезло или они позабыли. Я прекрасно помню, как на Рыночной площади в Броднице милиция срывала свежие плакаты, только что развешенные нашей командой. Я описал это в отчете, опубликованном в «Знаке» в июле 1989 го. Я стоял на помосте и выступал, а они окружали нас со всех сторон, проверяли у людей документы и составляли списки. Это была очевидная попытка запугать.

— **О чем вы говорили?**

— Должен прежде всего сказать, что я не верил в победу. У меня был слишком плохой опыт с коммунистами. Впрочем, не только с ними — с тоталитаризмом вообще. В течение всей оккупации наша семья по причине деятельности деда на Поморье, а потом эмигрантской деятельности отца скрывалась и переезжала из города в город. Меня часто будили ночью и спрашивали, как зовут. Мне требовалось немедленно выпалить фальшивое имя и фамилию. Таким был мой первый тренинг, обучение в семье. Потом я видел, что вытворяли с отцом после его возвращения на родину, в ходе и после сфальсифицированных парламентских выборов 1947 г., а затем после бегства Миколайчика из страны. Знаменитый процесс. И я помнил, как, меня, шестнадцатилетнего школьника, когда он сидел в тюрьме, тоже задержали, а потом ночью велели идти к Висле. Я был тогда уверен, что меня пустят в расход. А затем допросы в ГБ на Кошиковой улице. Поэтому мне было трудно поверить в успех тогдашних выборов. Но я считал, что попробовать надо. Нельзя не попробовать. И говорил: примите участие в этих выборах. Мы не знаем, удастся нам или не удастся, но, может быть, это шанс, и нам нельзя его не использовать. Мы обязаны это сделать перед нашими предками и потомками. Таким был лейтмотив моих выступлений в то время. Мой дед сидел в трех прусских тюрьмах — в Члухове, Плотцензее и Моабите, отец — тоже в трех, только коммунистических, — на Кошиковой, на Раковецкой и во Вронках. Те поколения и работали на новое время: если бы не они, то мы, может, уже давно были бы еще одной республикой Страны Советов. Значит, если теперь открывается какой-то шанс, мы обязаны его использовать несмотря на все сомнения и неуверенность.

— **Слушатели были настроены позитивно?**

— Не всегда. Помню встречу в каком-то доме для пенсионеров, где, как оказалось, проживали главным образом люди, заслуженные перед «народной властью». Они жуткие вещи начали говорить, даже не стану приводить. Не дали мне заговорить. Выливали ведра помоев. Наконец, мне все же удалось вставить: «У вас тут есть потребность выблеваться. Что ж, хорошо, я буду ведром, блюйте, а я заберу собой и вынесу». Только тогда они поутихли, и началась хоть какая-то дискуссия. Бывало на самом деле по-разному. Об одной встрече в каком-то из небольших населённых пунктов под Грудзёндзом репортаж написала Ханна Краль. Случались и такие встречи, где я выступал вместе с другими кандидатами.

— **А в день выборов...**

— Я был как раз в США на конгрессе American Federation of Teachers (AFT), профсоюза американских учителей. И я не переживал так, как мои товарищи в Польше.

— **Выборы завершились успехом. Ваши опасения развеялись?**

— Верить я начал, когда объявили результаты. Пожалуйста, не удивляйтесь. За несколько дней до военного положения я был в редакции журнала «АС» [«Агентство Солидарность»], где говорили, что власть лежит на улице, достаточно её поднять. А у меня были мрачные мысли, и в конечном итоге по просьбе Хелены Лучиво я их высказал. «Они пустят нас в расход, — сказал я тогда. — Не знаю, как и когда, но нас пустят в расход».

— **Так почему же теперь удалось? А может быть, не удалось, а всё это было продирижировано?**

— «Круглый стол» не был продирижирован. Что случилось? Они не допускали, что так постыдно проиграют те выборы. Хотели нас втянуть, проделать с «Солидарностью» то же самое, что с другими группировками, которые в прошлом вступали с ними в переговоры. Какой была судьба ППС [Польской социалистической партии] и ПСЛ [крестьянской партии]? Здесь должно было стать точно так же. Они думали, что им удастся нас всосать и сделать так, чтобы мы разделяли с ними ответственность. Ведь наша цель за «круглым столом» состояла в легализации «Солидарности». А наше участие в выборах было их замыслом и той ценой, которую мы были должны, вынуждены заплатить за легализацию профсоюза. Тогда это был основной и первостепенный вопрос, о чем сегодня забывают.

По мнению историка Анджея Пачковского, только Ярузельский предвидел, что получится, когда сказал: «Они поставят социализм к стенке». Другие красные в это не верили. Они сыграли за «круглым столом» ва-банк, и оказалось, что проиграли. Да и потом еще бывало нервно. Вспомните, пожалуйста, голосование в Сейме, когда президентом оставался Ярузельский. Была огромная вероятность его поражения. Что могло бы тогда случиться? Советские войска в стране, органы в их руках, армия тоже... Это была одна из самых трудных, а может, самая трудная минута в моей жизни. Я не имел права рисковать всем, чего удалось добиться, но вместе с тем не мог голосовать за него. И отдал недействительный голос. Так поступило семеро из нас. А Ярузельский прошел большинством в один голос — благодаря нашим недействительным бюллетеням. Эту атмосферу трудно сегодня понять.

— **Трудно не спросить вас о тех пяти годах, когда приходилось скрываться.**

— Это было так же, как с КОРОм [Комитетом защиты рабочих] и «Солидарностью»: есть такие вещи, которых нельзя не сделать, как и то, чего делать нельзя. В момент объявления военного положения я был заместителем Збигнева Буяка [председателя регионального правления «Солидарности» Мазовии]. Он поехал в Гданьск на заседание Всепольской комиссии, а я остался в правлении. После нескольких круглосуточных дежурств я хотел вымыться и выспаться дома перед тем, чего ожидал. С милицейской группой, которая должна была меня задержать, я разминутся, когда возвращался в правление, узнав, что нам отрезали телетайпы. Потом жена рассказывала, что они искали меня даже в шкафах. Так во второй раз в моей жизни начался период подполья и необходимости скрываться. А не попался я, возможно, благодаря тому, что не участвовал ни в каких компанейских встречах. Последовательно соблюдал определенные правила конспирации.

— **После того как вы вышли из подполья, вас не посадили. Может быть, они все-таки в то время немного переборщили?**

— О, несомненно. Меня несколько раз задерживали, допрашивали, держали в КПЗ. Один молодой, умный и образованный гэбэшник спросил меня напрямую: «Судя по тому, что мне известно, вы в отдаленном прошлом имели дело с нашей фирмой. И как выглядит сравнение?» Я ответил, что те были неандертальцы, а теперь, как видно, получше. На что он ответил: «Такие, о ком вы говорите, есть и сегодня, так что будьте поосторожнее». Профессионализма и интеллекта я у них не отнимаю. Уже в бытность депутатом, в первый же день, я встретил в Сейме генерала Кищака. Я столкнулся с ним тогда впервые в жизни и не предполагал, что он меня узнал! Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, а он стоит и беседует с каким-то пожилым человеком. Я хотел как-то издала обойти его, а он, едва увидев меня краешком глаза, тут же попросил извинения у того пожилого господина (как потом оказалось — генерала Куропески) и двинулся ко мне с протянутой рукой. «Ох, пан Виктор, как же мы вас искали все эти пять лет!» Я отвечаю: «Жаль, что я не знал, но вы не подавали вестей. А мне не хотелось причинять вам хлопоты». Оказалось, что он знает всю историю моей семьи. Башка, как компьютер.

— **Если они такие умные, то почему проиграли?**

— Еще раз повторяю. Они не ожидали такого поражения на выборах. Поставили всё на одну карту. С их стороны это была игра ва-банк. К счастью для нас всех, в тот раз они сдержали слово, выполнили условия договоренности — и всё решило общество.

*Беседу вел Яцек Келтинский*

## **1: «ЧТО Я УЗНАЛ О ПОЛЬШЕ И ПОЛЯКАХ В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 1989 года?»**

Единственный ответ, который я могу дать «по горячим следам», как просил редактор «Знака», — это отдельные картинки, поэтому ими и ограничусь. Вот всего лишь три из многих. Они складываются в своеобразный, сугубо польский триптих анно 1989. Такими я их и привожу, ибо форма ответа была оставлена на мое усмотрение.

**БРОДНИЦА**

Полдень, Рыночная площадь в центре городка, распаленная от жары и пустая. Молниеносно расклеенные предвыборные плакаты издалека бьют в глаза киноварью характерных букв «Солидарности». Перед плакатами собираются кучки бродничан. Они читают свежевывешенную предвыборную программу «Солидарности». Минуту спустя из ворот милицейского участка показывается милиция. Лениво зевая, подтягивают ослабленные ремни и неспешно подходят к читателям. Начинается проверка документов и переписывание личных данных. Правонарушения? Нет, правонарушений не было ни с одной из сторон. Каждый имеет право читать предвыборные плакаты, но и у каждого можно проверить документы и выписать оттуда сведения. Только зачем фигурировать в милицейских списках? Кучки людей перед плакатами тают. Через пару минут с площади, вновь пустой и сонной, милиционеры тянутся к воротам участка. В Варшаве коллеги не хотели мне верить. Кстати, ночью плакаты были содраны — как и в других местах.

**ВАРДЕНГОВО**

После встречи с избирателями зал гминного Дома культуры еще полон. Чьи-то пальцы стискивают мне ладони. Склоненная женская голова опирается на мое плечо. Лица я не вижу. Зато руки... деформированные, корявые пальцы с огрубелой, растрескавшейся от работы кожей и изуродованными суставами. Женщине, должно быть, под шестьдесят. У нее сдавленный, ломающийся голос: «Избавьте нас наконец от этих клик, что нами помыкают. Они засели везде: в кооперативах, гминах, воеводстве. Так невозможно жить. Самим нам не справиться. Помогите...» Слезы капаят на мои руки и стекают между нашими пальцами. Я молчу. Мгновение спустя она вопросительно поднимает лицо. Широко раскрытые светло-голубые глаза полны слёз. Ей не больше тридцати.

**РОГУЖНО-ЗАМЕК**

Сбившаяся в кучу, безмолвная толпа сельхозрабочих оживляется лишь в ответ на слова директора госхоза: «У нас тут есть еще свои дела, но их мы будем решать в своем кругу — верно, мужики? А вас мы благодарим». Рабочие явно возмутились. Однако они замолкают, когда директор встает, подавая знак, что встреча окончена.

«Неверно, пан директор, — говорю я. — Если люди хотят говорить сейчас — они будут говорить сейчас. Слишком многие дела в Польше решались в своем кругу, потому-то мы и имеем то, что имеем. Исправляться стало только тогда и там, где о делах стали громко говорить и открыто писать. Лишь мошенник, вор и преступник бояться огласки и света».

Рабочие срываются с мест. Кричат что-то, перебивая друг друга. Директор опускается обратно на стул, и снова настает тишина. На этот раз он говорит, сидя: «Ну, раз вы так хотите, раз вы им велите!..» — «Ничего я никому не велю. Люди ведь не глупые и сами знают, что делать. Захотят говорить сейчас — будут говорить. Захотят иначе — будет иначе». Тут я обращаюсь к рабочим: «Хотите разговаривать сразу — давайте говорить. Хотите сами потолковать с директором — тогда я оставлю вас с ним. Коли не договоритесь — я приезжаю завтра, и решим дело сообща». Мужики снова оживляются и советуются. Лица ожесточенные, посерьезневшие. Взвешивают ситуацию. В конце концов один встает и говорит: «Мы попробуем сами. Ежели не выйдет — позвоним вечером в межзаводской профсоюзный комитет, и завтра вы приезжайте». Ночью звонок — директора выгнали. Смилоствовали и не вывезли на тачке, но зато у него на шее будет прокурор. Рабочие сразу же выбрали из работников госхоза нового директора.

А теперь — возвращаясь к вашему вопросу. После таких и похожих встреч я своих взглядов не изменил. Самыми трудными были те вопросы, которые остались невысказанными и которые я задаю, в том числе и самому себе. А какие проблемы, ощущение каких опасностей повторялись чаще всего, что у поляков ближе всего к сердцу и в чем они усматривают пути выхода из экономического кризиса — обо всем этом я после таких встреч, как три только что описанные, как-то не спрашивал.

*Варшава, 23 июля 1989*

**2: НЕПОКОРНЫЙ**

*Текст подготовлен Агнешкой Устинской на основе бесед с проф. Богданом Цивинским в декабре 2008. Оригинал первоначальной, расширенной редакции напечатан в 58 м номере журнала «Карта». Заголовок настоящей публикации дан редакцией «Новой Польши».*

Непокорные интеллигенты, выступая на борьбу, — одиноки. В этом, кстати, и заключается самая суть того, почему трудно занять такую идейную позицию.

*Богдан Цивинский. Генеалогия непокорных*

Я родился за шесть недель до начала II Мировой войны, в Милянувеке под Варшавой. Отец был железнодорожным инженером и, замечу, человеком, получившим всестороннее образование еще до I Мировой войны. Родом он был с кресов [восточных окраин Польши], с пограничья нынешних Литвы и Латвии, но рос в глубине России, так как дед, тоже железнодорожный инженер, не имел права работать западнее Москвы. На территориях, расположенных к западу, поляков не разрешалось брать на службу на железной дороге; в результате отец рос в Саратове. Его семья принадлежала к кругам, я сказал бы, помещичье-интеллигентским. А мама была из семьи лодзинских рабочих, получила среднее образование — в своей семье она первая доучилась до аттестата зрелости.

Дом оказал на меня очень сильное влияние, особенно в тот период, когда вырабатываются ценности и убеждения, в том числе и политические. Домашнее воспитание было по существу лишено слов. Мне редко говорили, что надо делать, а чего не надо. Это возникало само собой. Теперь, когда я сморю на это с точки зрения историка интеллигенции, мне кажется, что мое воспитание было довольно характерным примером постпозитивистских традиций, прочно внецерковных — отец был человеком неверующим — и неприязненных по отношению к любым влиянием эндецкой [национал-демократической] идеологии, а с другой стороны — обладавших сопротивляемостью всяческому коммунизму. В 1952 г., когда у меня возникла мысль по-соседски ходить к варшавским иезуитам на уроки Закона Божьего, многие родители по политическим причинам боялись посылать туда детей. Отец не боялся и сказал матери: «Ладно, пусть ходит. Подрастет — у него вся эта религия пройдет, но получит хорошее противоядие от коммунистической школы». Только благодаря этому я и попал в церковные круги — ну и, выходит, посмеялся над отцом: как-то оно не прошло.

В домашних традициях во главе нравственных принципов стояла порядочность — принцип, согласно которому, в каких бы ты обстоятельствах ни находился, должен поступать так, чтобы этого не стыдиться. Отец говорил: «Помни, все нравственные принципы, которым люди учатся, затем существуют, чтобы их применять, а не дожидаться, что кто-то их будет применять по отношению к тебе».

Мама создавала атмосферу, тепло, без которого дом был бы нелегким, потому что отец был суровый и деловитый. Мама была по-своему глубоко религиозна, но без интеллектуальной основы. В связи с этим во всех вопросах, касавшихся взглядов, влияние отца было намного больше. На мой идеологический путь повлиял отец. Он был весьма решительным антикоммунистом. Я даже сказал бы, что антикоммунизм, а также определенная антирусская настроенность были у нас в доме тем, что не нуждалось ни в каких дискуссиях. Антирусская настроенность происходила из того, что несколько поколений в семье сражались с русскими в XIX и XX веке и испытали от них много горя. Отец сам рос в России, отлично знал русскую литературу, язык, знал русский дух и при всей своей антирусской — точнее антироссийской, антигосударственной — настроенности культуру эту очень любил, охотно к ней обращался.

Мое раннее детство пришлось на время войны. Мы жили в Милянувеке, который был тогда своеобразным центром подпольной работы, где временами жил делегат правительства [в изгнании] и бывали очень важные лица из всех партий, входивших во власти Речи Посполитой. В связи с этим Милянувек был необычайно политизированным местом. Там же, во время подпольного слушанья передачи лондонского радио (не знаю, каким чудом я при этом оказался) у меня рухнула вера в научное мировоззрение. Я был уже очень взрослый: мне было пять лет, и я знал, что гномов на свете нет, поэтому, когда я услышал, что из этой коробки какой-то взрослый господин что-то говорит, я утратил веру в научное мировоззрение. Гномы есть, так как взрослый человек в коробку не влез бы!

Последний год оккупации, 1944-й, я немножко помню. Это было время, когда после восстания варшавяне сбегали из лагеря в Прушкове. Каждый искал места, где можно было бы остановиться, а у родителей было множество друзей. В результате мы жили втроем плюс 13 варшавян.

Советские войска вошли в Милянувек 17 января, так же как и в Варшаву. Помню энтузиазм многих поляков, включая мою маму, и слова отца: «Не радуйся, не радуйся — одна оккупация заменяется другой». В 1946 г. мы переехали в Варшаву.

В пятом классе меня начали учить русскому. Помню, мой отец тогда сказал: «Этот язык ты должен изучить, потому что надо знать язык своих врагов». И сам начал меня учить. Учил, наверное, полгода, в результате чего я сразу получил в школе пятерку. Тогда отец сказал: «Теперь уже учись сам». Но я потом никогда ничего не учил, а пятерка у меня оставалась до конца школы. А теперь я, случается, даже читаю лекции по-русски — значит, научился!

Начали твориться неприятности вокруг Закона Божьего. У нас преподавала монахиня-назаретянка, и вроде бы всё было как раньше, но появились новые молодые учителя, которые над монахиней посмеивались. Притом так, чтобы осмеять ее в наших глазах. Но мы, хоть и совсем детишки, знали, что эти молодые учителя — коммунисты, а сестра — НАША. Мне очень трудно сказать, чт? на самом деле повлияло на мое религиозное мировоззрение и на всякий мой жизненный выбор. Не знаю, как было на самом деле. Но был один такой вечер, который стал началом.

Мне было 14 лет и три месяца — совсем сопляк. Пошел я в костел св. Анны послушать речь кардинала Вышинского к студентам и интеллигенции. Толпа, народу множество — вечерняя месса и долгая проповедь с амвона. Примас Вышинский что-то говорит, а люди старательно это переживают. Я мало что понимаю, не дорос еще, но вижу, что это так религиозно, так патриотично и так прекрасно, что нужно от этого возбуждаться. Возвращаюсь домой такой гордый тем, что я видел, что я уже знаю примаса. Утром иду в школу и узнаю, что сегодня ночью примаса арестовали... Это 1953 год. Мы знаем, что идут аресты разных людей, но еще не видели такого, кто бы оттуда вышел: если сажают, то уже навсегда. И вот это был момент, когда я внезапно осознал, что теперь — раз уж ничего сделать нельзя, потому что война кончилась, а я всегда был слишком маленький, слишком молодой и ни за что не успел уцепиться, — теперь только в Церкви и надо быть. Потому что вот оно, то место, за участие в котором можно, конечно, сесть, но где можно совершить что-то прекрасное.

Я поступил в лицей им. Рейтана, который на фоне других варшавских школ считался наименее политизированным. За четыре года было, может быть, два-три случая наполовину смешных, но доказывавших, что какое-то давление было.

Один из них произошел в последний день накануне выборов в Сейм. Избирательный участок должен был находиться в старом здании нашей школы. На какой-то урок не пришел учитель, у нас «окно», и большинство закурило. Курим, курим, и вдруг кто-то кричит: «Атас, ребята, Стефа идет!» Стефа — это наша классная руководительница Стефания Святловская, преподавательница латыни, чудесная дама, которой мы жутко боимся. Что делать? В конце класса была железная дверь в старый лифт, от веку не действовавший, ну мы туда через замочную скважину зашвырнули все окурки. Стефа приходит, нюхает — что-то чувствует, но следов нет. Через некоторое время мы чувствуем, что из-за этой двери воняет всё сильнее. Что-то горит. Из подвального окна пошел дым, это заметили со стороны, и в классе появился милиционер. Оказалось, что мы подожгли избирательный участок и скандал разгорелся сильнее десяти пожаров. Нас допрашивали, мы писали письменные объяснения. Стефа потихоньку сказала: «Признайтесь, что курили». Это нам слегка показало безумие ситуации. Еще чуть-чуть — и мы стали бы «врагами народа».

Идеологическое давление было, но его оказывали не учителя, а комсомольцы, потому что в СМП [Союз польской молодежи, польский комсомол] полагалось вступать. Из 30 выпускников в нашем классе только трое не вступили. Среди этих троих был и я, но помню, как на меня нажимали, как говорили: «Не поступишь учиться дальше». Я не особенно этому верил, потому что был очень хорошим учеником, так что вышла бы большая драка, — но все-таки боялся. Несмотря на это не вступил. Так я по этому вопросу одержал первую победу: 8 июня 1956 г. начались экзамены на аттестат зрелости, а за неделю до этого, в рамках предоктябрьской оттепели [имеется в виду октябрь 56 го], СМП был распущен. И все мои одноклассники, которые в него вступили и раньше говорили: «Ну, мы поступим учиться, а ты дурак, что не вступаешь», — сами оказались в дураках. Мне повезло, и в университет я поступил безболезненно.

Я пошел на полонистику. Уже три недели был студентом [в Польше занятия в высшей школе начинаются в октябре], когда ассистентка, которая вела у нас занятия по исторической грамматике, сказала: «Слушайте, сегодня занятий не будет. Через два часа в Политехническом институте начинается митинг студенчества, рабочих и жителей всей Варшавы. Приехала делегация из Москвы, будут перемены в партии, а Варшава окружена советскими войсками. Я иду на этот митинг, а вы — если хотите — тоже идите». Как мы могли на это реагировать? Известно было, что есть «наша» правда, о которой нельзя говорить вслух, и официальная неправда: в школе, институте, в газетах, везде. Это два мира, которые друг с другом не соприкасаются. А тут вдруг ассистентка, находящаяся в рамках этого официального мира, говорит вещи, которые не совпадают с официальной идеологией. Мы знаем, что она права, но каким чудом она может так говорить? Помню, я

чувствовал себя ошеломленным и совершенно дезориентированным. Тем не менее решил идти в Политехнический.

Там толпа. Кто-то направляет нас наверх, я нахожу себе место, смотрю и слушаю. Внизу продолжают речи. Их произносят люди с именами, которые должны бы мне что-то говорить, но я был настроен так крайне антикоммунистически, что для меня вообще всё официальное было отвратно. Но слушаю — и действительно: начинают говорить официальным языком о «народной Польше», о социализме, такая обычная чушь. Но тут же и тем же самым языком высказываются вещи против власти. В перерывах между речами мы поем — то «Интернационал», то «Боже, Ты, что Польшу...». И во мне углубляется непонимание: в чем я участвую? Это что-то государственное или антигосударственное? Ответа не знаю, но мне начинает нравиться.

Митинг кончается, и вся эта толпа выходит шествием. Я иду вместе со всеми и всё больше чувствую себя демонстрантом. Мы идем к тюрьме на Раковецкой. Впереди какой-то тип, выглядящий рабочим, несет бело-красное знамя. В те времена бело-красные знамена без красных не появлялись. Этот символ мне очень понравился. Он подходит к тюремной двери и колотит в нее древком. Кто-то кричит, и мы все начинаем орать: «Свободу политическим! Свободу политическим!» Идем дальше. В какой-то момент видим милицию и армию. Разбегаемся. Я лечу домой, рассказываю, отец глядит с недоверием и говорит с иронией: «Ну да, еще чуть-чуть, и тебя арестовали бы — и привет! Но если об этом было официально объявлено в университете, неужели ты себе воображаешь, что всё это было взаправду? Наверняка нет!» Но в 11 часов вечера отец, как всегда, включает «Свободную Европу», а там говорят, что несколько часов назад в Варшаве была демонстрация... и повторяют то же самое, что я рассказал. Ох, какой я стал важный, что принял участие в таких событиях! А это была совершенная случайность. Так выглядел «великий Октябрь», как я его видел...

Потом в Варшаве сложилась необычайная атмосфера. В университете кто-то говорит: «Слушайте, примас вернулся!» Мы все удираем с занятий, мчимся на Медовую, а там — толпа народу. Открывается балкон, выходит примас, произносит коротенькую речь, благословляет и говорит: «А теперь спокойненько и послушно идите домой». В этот момент Варшава поняла, что что-то меняется. Освобождение примаса мы рассматривали как свою победу. Энтузиазм был огромный. Возникло множество студенческих объединений, разных демократических союзов, но я туда не лез. И ни во что не лез, кроме харцерства [польского скаутства], куда втянулся очень сильно. Стал инструктором. С людьми, которых я там узнал, я был тесно связан. Мы вместе проводили время, встречались каждую субботу. Начались первые романы и даже одна-две свадьбы. Одним словом, всё время — харцерство. Мы были рьяными католиками. Все мы раньше участвовали в студенческих пастырских группах, которые до 1956 г. были полулегальными. На лекции в университет я почти не ходил — впрочем, они протекали сквозь меня, как вода. Не участвовал и ни в каких культурных или политических занятиях, которых было множество, потому что мне уже не хватало энергии. Однако после каникул 1958 г. харцерство закончилось. Нас начали выгонять из инструкторов за клерикализм. Проводили одну чистку за другой, пока нас не послали в отставку. Со мной это случилось среди самых первых, но особо неприятного чувства у меня не было, так как я уже загорелся новым замыслом.

Началось это так: студенческий кружок философского факультета ЛКУ (Люблинского католического университета) организовал летний лагерь в Свентой-Липке на Мазурах. Они хотели собрать людей из студенческих пастырских групп со всей Польши, чтобы обсуждать вопросы христианской философии. Я тоже принял участие в этом лагере. Туда приехал на два дня священник и доцент Войтыла, только что назначенный епископом, но еще не рукоположенный. Он сразу купил нас своим образом жизни, игрой в волейбол, плаванием на байдарке и так далее, и мы решили, что все поедem на его епископское рукоположение в Краков. Мы встречались регулярно. Ездили автостопом, который как раз тогда начинал становиться очень популярным в Польше, и ели что Бог даст. Иногда — очень скромно. Ночевали на полу в самых разных квартирах, и было нам хорошо. Так я вошел в среду ЛКУ и решил изучать там другую дисциплину — христианскую философию. Я не мог этого сделать формально, так как ЛКУ не имел права на организацию заочного обучения. Поэтому отметки и подписи профессоров я собирал на обычном листе бумаги.

В Люблине я застал совершенно иную интеллектуальную ситуацию, нежели в Варшаве. Не было той дистанции между профессором и студентом. Я сразу близко познакомился с несколькими профессорами. Очень сильным был общинный дух, а среда отличалась семейным духом. Когда я приезжал в Люблин, у меня никогда не было денег на съем жилья. В общежитии жилось тяжело: в одной комнате жило до одиннадцати человек. Но меня всегда принимали двенадцатым — хоть бы под стол, — и не было проблемы.

Полонистику я закончил в 1961 г., а люблинскую философию уже позволил себе не заканчивать. Сразу после получения диплома мне удалось поехать по поддельному приглашению во Францию, где два месяца я проработал носильщиком, а потом автостопом объездил Францию, Англию и Италию.

Вернувшись в Польшу, я пошел работать в Национальную библиотеку, где три года просидел в Институте книги и читателя. Национальная библиотека была интересным местом — камерой хранения для тех, кто не мог делать карьеру, потому что пережил трудности в сталинский период. Там царили крайне оппозиционные взгляды, так что я чувствовал себя отлично.

Начали ко мне цепляться органы. Тогда я еще не знал, что если вызывают без официальной повестки, то можно не ходить, поэтому пошел раз, другой, третий. Однако мне удалось уже во время первой беседы — не очень обдуманно — поставить условие: «Если вас интересует, что я думаю, что я делаю и тому подобное, — хорошо, об этом я могу говорить. Зато принцип таков, что о третьих лицах я не говорю. Если вас это устраивает — пожалуйста, а если нет, то вообще не о чем разговаривать». Он согласился. Пока у меня был всё тот же собеседник, никаких «гнусных предложений» я не получал. Потом он передал меня своему начальнику, который однажды предложил мне помощь в защите диссертации. Я ответил: «Если мне будет нужно, сам защищусь», Это было легко. Хуже было, когда мой отец в 1964 г. заболел раком и лежал в больнице. Тогда гэбэшник сказал, что может мне помочь с какими-то лекарствами. Это произвело на меня впечатление, но я сказал: «Пока что мы не жалуемся на мнение врачей». Он оставил меня в покое, и дело остановилось. Гэбэшники от меня отстали, а папа и так выздоровел.

Допрашивали меня по делу «татерников»